



ХIV. РАБОТА НАД ДИССЕРТАЦИЕЙ И НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА В „СОВРЕМЕННОМ“

Изменив свое первоначальное намерение писать диссертацию по славянским наречиям у Срезневского, Николай Гаврилович принимается с жаром работать над повой темой — «Эстетические отношения искусства к действительности». Показать реакционную сущность идеалистических представлений об искусстве, наиболее ярко выраженных в теории Гегеля, противопоставить ей революционно-материалистическую эстетику, опирающуюся на великие традиции передовой философской мысли России, — вот в чем заключался главный смысл задачи, поставленной перед собой Чернышевским. Профессор Никитенко утвердил эту тему, предложенную им самим еще несколько лет назад Чернышевскому-студенту для курсовой работы. Но, утверждая ее, профессор, конечно, не предполагал, что тема диссертации будет разработана с революционных позиций.

Одновременно с диссертацией Чернышевский начал писать несколько популярных статей на эту же тему, предполагая, что ему удастся поместить их в «Отечественных записках». Таким образом, думал он, это



Н. Г. Чернышевский в кружке И. И. Введенского. (Рис. художника Е. В. Ильина.)



Н. Г. Чернышевский. (Дагерротип.)

новое эстетическое учение, провозглашенное и с университетской кафедры и на страницах распространенного журнала, делается достоянием широкого круга русских читателей.

Но легче было написать ученый трактат и эти статьи об искусстве, чем получить доступ с ними на университетскую кафедру или в журнал Краевского. И реакционные университетские круги и издатель «Отечественных записок» холодно встретили замысел Чернышевского.

Краевский отказался напечатать его статью «Критический взгляд на современные эстетические понятия», найдя ее «недостойной печати», а профессура и Совет университета сделали все от них зависящее, чтобы помешать Чернышевскому тогда же выполнить его намерение. Формальных поводов к запрещению защиты диссертации не было, и тогда прибегли к излюбленному способу бюрократов — к нескончаемой проволочке Волокита с утверждением сочинения и с магистерскими экзаменами тянулась так долго, что автор диссертации успел за это время совершенно охладеть к мысли о профессорской деятельности, всецело отдавшись критико-публицистической работе в журналах.

Именно на примере получения Чернышевским ученой степени видно, как старательно сопротивлялись «жрецы» науки проникновению в нее революционной мысли. Достаточно сказать, что между написанием диссертации и ее защитой прошло почти два года. Два года под теми или иными предлогами отодвигался срок напечатания работы Чернышевского и назначения публичного диспута. Он начал писать ее и закончил в ту пору, когда еще только готовился к широкой журнально-публицистической деятельности, а защи-

шал, уже создав себе прочную известность как литературный критик и публицист.

В течение нескольких недель, среди всевозможных дел и забот успел он написать вчерне основную часть диссертации и уже в сентябре 1853 года отнес ее к Никитенке, уговорившись с ним, что тот просмотрит ее «частным образом» до представления в факультет.

Ознакомившись с работой, профессор, должно быть, не сумел сразу распознать ее полемическую направленность и не увидел в ней ничего «опасного». Он предложил только ослабить открытую критику основ идеалистической эстетики, посоветовав Чернышевскому заменить повсюду имя Гегеля какими-нибудь иносказательными обозначениями. Поэтому Николаю Гавриловичу пришлось, говоря о «гегелевской школе», называть ее «господствующей школой», ее учение — «общепринятыми понятиями» и т. д.

Но когда Чернышевский спустя некоторое время вторично отдал профессору законченную работу, Никитенко, видимо внимательнее перечитав ее, заметил, что идеи, развиваемые молодым ученым, гораздо шире вопросов о прекрасном в искусстве и в действительности, что эти идеи резко противостоят традиционным идеалистическим взглядам на цель и назначение искусства.

Почти в течение целого года не решался Никитенко представить диссертацию в факультет со своим одобрением и не давал окончательного ответа, ссылаясь то на болезнь, то на занятость другими делами. Так и пролежала она в профессорском кабинете до самой весны 1855 года.

И экзамены, на которые у других магистрантов уходило не более двух недель, растянулись на этот раз на несколько месяцев. То «не успеют» предупредить

кого-либо из профессоров о заседании факультета, и они не являются на него, то отложат заседание «по недостатку времени», то придумают еще какие-нибудь причины. Лишь в конце ноября дошло дело до экзамена по русской словесности у Никитенки, который экзаменовал Чернышевского только для формы, давно убедившись в его блестящем и глубоком знании предмета. Затем следовали экзамены по русской истории и языковедению. Последний экзамен он сдавал весной 1854 года.

Отец Чернышевского всегда с нетерпением ждал известий из Петербурга. И хотя он не знал сокровенных стремлений и планов сына, хотя, разумеется, не понял бы и не одобрил их, если б знал, тем не менее его, конечно, живо интересовало все, что касалось жизни сына в столице.

Каждый шаг, предпринятый Николаем Гавриловичем, по-своему преломлялся в сознании отца. Ему казалось, что никакие успехи Николеньки в журнальном мире или на университетском поприще не должны заслонять «главной» цели — устройства на «казенную службу», которая одна только и могла, по понятиям Гавриила Ивановича, сулить спокойное существование, прочное положение в обществе и уверенность в будущем.

И когда он получал известия из Петербурга о том, что Николенька уже сотрудничает в «Отечественных записках», или о том, что он переменял тему диссертации и скоро будет держать магистерские экзамены, то, радуясь этим успехам, Гавриил Иванович спешил напомнить сыну о том, что надобно все-таки хлопотать о служебной карьере, о солидном устройстве, о хорошем месте. «Вы утверждаетесь жить в Питере, — писал он сыну и невестке, — это хорошо, но я все-таки

до тех пор буду беспокоиться, пока ты, Николенька, не поступишь на должность казенную».

Получив по почте «Словарь к Ипатьевской летописи», составленный Николаем Гавриловичем, он тотчас принялся за чтение, и у него хватило терпения осилить от доски до доски даже эту неудобочитаемую работу. «Словарь твой читал. Труда много, а пользы ни тебе, ни другим от него не видится: стало быть, ты трудишься над этой древностью без пользы для твоего кармана. Лучше б написал какую-нибудь сказочку. А сказочки еще и ныне в моде бонтонного мира...»

Никто решительно не разубедил бы предусмотрительного Гавриила Ивановича, что казенная должность есть самое важное в жизни: «Частная служба бесполезна в будущем. Пожалуй, пристройся где-нибудь на казенном месте, чтобы лета и силы не истощались даром. С нетерпением жду этой вести. Еще — не изнуряй себя излишне: всего, что плавает и плывет по житейскому морю, не перехватываешь и не усвоишь. Хорошо писать в издание Краевского, но это должно быть второстепенное занятие — от безделья не без дела...»

Он одобрительно отнесся к намерению сына держать магистерский экзамен и защищать диссертацию, но с еще большим сочувствием отозвался о поступлении его преподавателем в Петербургский кадетский корпус: «Только об одном прошу, чтобы служба была не частная, а казенная. Вам, милая, бесценная Оленька, поручаю это, а я буду смотреть высочайшие приказы...» (По существовавшему тогда порядку определение на государственную службу по какому-либо департаменту сопровождалось опубликованием в официальном органе «высочайшего приказа» о зачислении — имярек — на такую-то должность.)

Николай Гаврилович понимал, что беспокойство

отца и настойчивые просьбы о поступлении на казенную службу были вызваны не чем иным, как любовью, желанием видеть его счастливым, обеспеченным и устроенным. Поэтому он, с присущей ему мягкостью, «уступал» слабостям Гавриила Ивановича, делая вид, что и сам озабочен более всего поступлением на хорошую должность, а на все остальное смотрит, как на нечто второстепенное и маловажное.

Чернышевский в эту пору не отказывался ни от какой работы: уроки, корректура, журнальные рецензии... «У кого есть состояние, может делать только то, что ему нравится; у кого нет состояния, печатает не для славы, а по житейской надобности, работает не из удовольствия, а из необходимости. Это не унижает», — писал он спустя десять лет после начала своей журнальной деятельности.

Создавая «Эстетические отношения искусства к действительности», Чернышевский одновременно вынужден был сотрудничать в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и даже в таком журнале, как «Мода». Но мы не должны удивляться этому. Разве мало знаем мы примеров, когда необходимость заставляла выходцев из разночинской среды, таких, например, как Белинский, Некрасов, Чехов, отдавать свое время и силы мелкожурнальной работе? «Было время, — вспоминал Чернышевский в 1863 году, — я — я, не умеющий отличить кисею от барежи, — писал статьи о модах, в журнале «Мода» — и не стыжусь этого. Так было нужно, иначе мне нечего было бы есть. Вот как надобно смотреть на свои произведения, и с этим взглядом можно пытаться, не удастся ли иметь от них кусок *своего* хлеба, который очень вкусен».

Работы в «Отечественных записках» Краевского на первых порах было у Чернышевского очень мало. Это заставило его искать возможности печататься и в другом из двух тогдашних солидных журналов, в «Современнике» Некрасова. Задуманное увенчалось скоро успехом, что значительно сократило для Чернышевского период подыскания регулярной литературной работы.

Эти два журнала занимали тогда различные позиции. Лучшая пора «Отечественных записок», связанная с сотрудничеством в них Белинского, уже миновала. В критико-библиографическом разделе журнала не было четкости и единства идейного направления. Статьи главенствовавших в журнале критиков носили откровенно эпигонский характер.

В «Современнике», напротив, еще был жив дух Белинского. Во главе журнала стоял Н. А. Некрасов, превосходно понимавший значение традиций и заветов великого критика. Но до прихода в «Современник» Чернышевского в критико-библиографическом отделе журнала не было человека, способного с честью продолжать и развивать эти традиции в новых условиях.

Некрасов со свойственной ему редакторской проницательностью сумел угадать по первым же рецензиям Чернышевского, что в его лице русская литература обретает достойного продолжателя дела Белинского.

Чернышевский явился в редакцию «Современника» осенью 1853 года безвестным рецензентом, ищущим заработка, а Некрасов с первого же знакомства с ним стал посвящать его во все редакционные дела и затем постепенно предоставлял все большие и большие возможности решительно определять направление «Современника».

До конца жизни сохранил Чернышевский благодарную память о Некрасове-человеке и преклонение пе-

ред его поэтическим гением. Он считал даже, что всем, что он сделал для родины, он обязан Некрасову.

Все подробности первой встречи с любимым поэтом так глубоко врезались в сознание Чернышевского, что даже спустя три десятилетия после нее он сумел восстановить их в своих воспоминаниях о Некрасове настолько живо, будто встреча произошла только вчера. Невозможно без волнения читать эти страницы воспоминаний. Чернышевский рассказывает, как в один из осенних дней 1853 года он принес И. И. Панаеву (номинальному редактору «Современника») рецензии, заказанные ему накануне Панаевым для журнала¹.

«Через несколько времени, — через полчаса, быть может, — вошел в комнату мужчина, еще молодой (в описываемое время Некрасову было 32 года. — Н. Б.), но будто дряхлый, опустившийся плечами. Он был в халате. Я понял, что это Некрасов (я знал, что он живет в одной квартире с Панаевым). Я тогда уж привык считать Некрасова великим поэтом и, как поэта, любить его. О том, что он человек больной, я не знал. Меня поразило его увидеть таким больным, хилым. Он, мимоходом поклонившись мне в ответ на мой поклон и оставляя после того меня без внимания, подошел к Панаеву и начал: «Панаев, я пришел...» спросить о какой-то рукописи или корректуре, прочел ли ее Панаев или что-то подобное, деловое; лишь слышались первые звуки его голоса: «Панаев...» я был поражен и опечален еще больше первого впечатления, произведенного хилым видом вошедшего: голос его был слабый шопот, еле слышный мне, хоть я сидел

¹ С Панаевым Чернышевский познакомился, вероятно, у Никитенки и просил у него работы.

в двух шагах от Панаева, подле которого он стал. Переговорив о деле, по которому зашел к Панаеву, — это была минута или две — он повернул, — не к двери, а вдоль комнаты, не уйти, а ходить, начиная в то же время какой-то вопрос Панаеву о каком-то знакомом; что-то вроде того, видел ли вчера вечером Панаев этого человека и если видел, то о чем они потолковали; не слышал ли Панаев от этого знакомого каких-нибудь новостей. Кончив вопрос, он начал отдаляться от кресла Панаева. Панаев отвечал на его вопрос: «Да. Но вот прежде познакомься: это...» — он назвал мою фамилию Некрасов, шедший вдоль комнаты по направлению от нас, повернулся лицом ко мне, не останавливаясь, сказал своим шопотом «здравствуйте» и продолжал идти. Панаев начал рассказывать ему то, о чем был спрошен. Он ходил по комнате. Временами предлагал Панаеву новые вопросы, пользуясь для этого минутами, когда приближался к его креслу, и продолжал ходить по комнате. После впечатлений, произведенных на меня его хилым видом и слабостью его голоса, меня, разумеется, уже не поражало то, что ходит он медленными, слабыми шагами, опустившись всем станом, как дряхлый старик. Это длилось четверть часа, быть может. В его вопросах не было ничего, относившегося ко мне. Спросив и дослушав обо всем, о чем хотел слышать, он, когда Панаев кончил последний ответ, молча пошел к двери, не подходя к ней, сделал шага два к той стороне, где сидели Панаев и я, и приблизившись к моему креслу (против кресла Панаева) настолько, чтоб я мог расслышать его шопот, сказал: «Пойдем ко мне». Я встал, пошел за ним. Прошедши дверь, он остановился; я понял: он поджидает, чтобы я поравнялся с ним; и поравнялся. И шли мы рядом. Но он молчал. Молча прошли

мы в его кабинет, молча шли по кабинету, направляясь там к креслам. Подошедши рядом со мной к ним, он сказал: «Садитесь». Я сел. Он остался стоять перед креслом и сказал: «Зачем вы обратились к Панаеву, а не ко мне? Через это у вас пропало два дня. Он только вчера вечером, отдавая ваши рецензии, сказал мне, что вот есть молодой человек, быть может пригодный для сотрудничества. Вы, должно быть, не знали, что на деле редижируется журнал мною, а не им?» — «Да, я не знал». — «Он добрый человек, потому обращайтесь с ним, как следует с добрым человеком; не обижайте его; но дела с ним вы не будете иметь; вы будете иметь дело только со мной. Вы, должно быть, не любите разговоров о том, что вы пишете, и вообще о том, что относится к вам? Мне показалось, что вы из тех людей, которые не любят этого». — «Да, я такой». — «Панаев говорил, вы беден, и говорил, вы в Петербурге уже несколько месяцев; как же это потеряли вы столько времени? Вам было надобно тотчас позаботиться приобрести работу в «Современнике». Вы, должно быть, не умеете устраивать свои дела?» — «Не умею». — «Жаль, что вы пропустили столько времени. Если бы вы познакомились со мною пораньше, хоть месяцем раньше, вам не пришлось бы нуждаться. Тогда у меня еще были деньги. Теперь нет. Последние свободные девятьсот рублей, оставшиеся у меня, я отдал две недели тому назад». — Он назвал фамилию сотрудника, которому отдал эти деньги. — «Он» — этот сотрудник — «мог бы подождать, он человек не бедный. Притом часть денег он взял вперед. Вы не можете ждать деньги за работу, вам надобно получать без промедления. Потому я буду давать вам на каждый месяц лишь столько работы, сколько наберется у меня денег для вас. Это будет немного. Впрочем, до

времени подписки недалеко. Тогда будете работать для «Современника», сколько будете успевать. Пойдем ходить по комнате». — Я встал, и мы пошли ходить по комнате...»

Словно бы предчувствуя, какую огромную роль будет играть впоследствии Чернышевский в жизни журнала, поэт с удивительной для первого знакомства откровенностью обрисовал ему истинное положение вещей. Он, не таясь, сказал сразу же, что денежные дела «Современника» в тяжелом положении и поэтому он не советует Чернышевскому порывать с «Отечественными записками» Краевского. «Вы видите, в каком положении наши дела. Они очень плохи, и нет вероятности надеяться, чтоб они улучшились. Время становится год от году тяжелее для литературы, и подписка на журналы не может расти при таком состоянии литературы. А без увеличения подписки «Современник» не может долго удержаться; наши долги в эти годы хоть не быстро, но росли. Чем это кончится? Падением журнала. И кем держится пока журнал? Только мною. А вы видите, каков я. Могу ли я прожить долго?»

Мы знаем, что предположения Некрасова, к счастью, не оправдались. Благодаря тому, что в редакцию влились новые силы, дело кончилось не падением журнала, а напротив, новым подъемом его авторитета в глазах широких читательских кругов, когда «Современник» стал трибуной, с которой русские передовые публицисты, критики, писатели и поэты выступили на защиту интересов порабощенного народа и вдохновляли лучших представителей общества на борьбу с самодержавием и крепостничеством.

Начало этому новому подъему было положено Чернышевским, который в поразительно короткий срок

занял в «Современнике» руководящее положение. Однако некоторое время он, по совету Некрасова, участвовал одновременно и в «Современнике» и в «Отечественных записках». Несомненно, это было со стороны Некрасова желанием, с одной стороны, проверить будущего сотрудника и, с другой, — помочь Чернышевскому быстрее завоевать известность в литературном мире. В каждом слове этого совета чувствуется богатый опыт и доскональное знание законов, царивших тогда в журналистике: «Панаев говорил, вы уже работаете для Краевского. Он враг нам... Когда он увидит, что вы полезный сотрудник, он не потерпит, чтобы вы работали для нас и для него вместе. Он потребует, чтобы вы сделали выбор между ним и нами. Он человек в денежном отношении надежный. Держитесь его. Но пока можно, вы должны работать и для меня. Это надобно и для того, чтобы Краевский стал дорожить вами. Он руководится в своих мнениях о писателях моими мнениями. Когда он увидит, что я считаю вас полезным сотрудником, он станет дорожить вашим сотрудничеством. Когда он потребует выбора, вы сделаете выбор, как найдете лучшим для вас...»

Все пошло именно так, как предвещал Некрасов. Нечего и говорить, что Чернышевский без колебаний остановил свой выбор на «Современнике», когда весной 1855 года Краевский поставил перед ним вопрос ребром.

Исключительное участие, с каким Некрасов отнесся к Чернышевскому, было не случайным. Поэт прошел тяжелую школу жизни и знал, что такое бедность. В юношеские годы бывали у него периоды такой безысходной нужды, что он отправлялся на Сенную площадь и там за пять копеек или за кусок белого хлеба писал крестьянам письма и прошения, а в случае от-

существования такого рода «заказов» устремлялся в казначейство, чтобы за несколько копеек расписываться там за неграмотных. Исключительная выдержка, упорство и настойчивость, свойственные Некрасову, помогли ему вынести эту мучительную борьбу с нищетой.

Сладость *своего* куска хлеба, о которой говорит Чернышевский, была слишком хорошо знакома поэту, издававшему в ранние годы своей деятельности опасный искус литературной поденщины.

Он вступил на эту стезю не по доброй воле, а по необходимости. Ему не приходилось гнушаться никакой работой. Он составлял азбуки, писал сказки, детские пьески, водевили, исправлял рукописи других авторов (Григорович, например, однажды застал его за редактированием брошюры об уходе за пчелами), сочинял афишки в стихах для «кабинета восковых фигур», переводил, писал библиографические заметки, театральные рецензии, злободневные куплеты, фельетоны, пародии, повести... Кажется, нет такого журнального жанра, который бы не был испробован Некрасовым. Подводя итоги этого сизифова труда, Некрасов исчислял его в сотнях печатных листов. «Уму непостижимо, сколько я работал! Господи! Сколько я работал!» — говорил он, вспоминая с далеких годов своей молодости.

Медленно, но неуклонно продвигался он вперед даже в этих тесных рамках поденной литературной работы. Дарование стихийно прорывалось в любом стихотворном пустяке, в шаржах, в гротесках, в поспешно набрасываемых бытовых зарисовках.

Начало журнальной карьеры Некрасова совпало с пышным расцветом «предприимчивости» в литературе. Многие не лишенные таланта литераторы, вступив однажды на опасный путь ремесленничества,

незаметно для себя мельчали, теряли постепенно лицо, утрачивали сопротивляемость и уже навсегда превращались в покорных поставщиков занимательного чтива.

Стезя эта могла бы оказаться гибельной и для Некрасова. Однако он вышел победителем, и не только потому, что силен был его талант, — одного таланта было бы мало, — требовалась еще огромная воля и ясное сознание отдаленных целей, никогда не покидавшее Некрасова

Скитаясь по редакциям журналов и по приемным издателей-барышников и театральных дельцов, он верил, что рано или поздно вырвется из этой литературной трясины на настоящую дорогу. Он отчетливо видел, как пуста, бесцельна и никчемна работа в угоду невзыскательным вкусам, как жалок удел нетребовательных к себе ремесленников. В нем не умирала жажда подлинного творчества, он смутно чувствовал свою скованную силу, которой предстояло развернуться впоследствии.

Огромную роль сыграло тут знакомство, а в дальнейшем тесное сближение Некрасова с Белинским.

Над уровнем тогдашним приподняться
Трудненько было: очень может статься,
Что я пошел бы торною тропой,
Но счастье не дремало надо мной.

Счастьем называл Некрасов свою встречу с Белинским.

Кто знал его, кто был с ним лично близок,
Тот, может быть, чудес не натворил,
Но ни один покамест не был низок...
Почти ребенком я сошелся с ним.

Белинский, вспоминал И. Панаев, сразу полюбил Некрасова «за его резкий, несколько ожесточенный ум, за те страдания, которые он испытал так рано... за тот смелый практический взгляд не по летам, который вынес он из своей труженической и страдальческой жизни»

Благодаря общению с Белинским и кругом литераторов, группировавшихся около него, Некрасов очутился в сфере передовой общественной мысли своего времени. Здесь горячо обсуждались животрепещущие политические вопросы, глубочайшие социально-философские проблемы, шли споры о назначении литературы, об обязанностях писателя-гражданина.

Великий критик был страстным поборником искусства для жизни, искусства социального, отвечающего насущным потребностям века. Он смотрел на литературу как на одно из могущественных орудий преобразования действительности. Первостепенной обязанностью художника он считал беззаветное служение народу и родине, делу освобождения их от самодержавия и крепостничества.

Ведя беспощадную борьбу с защитниками «искусства для искусства», эпикурейской поэзии и реакционного романтизма, отвлекавшими читателей от острых вопросов современности, Белинский ратовал за принципы народности и реализма, за поэзию полнокровную, насыщенную глубоким содержанием, понятную и близкую народу.

Девизом его была «социальность», он не устал твердить, что не хочет блаженства, если оно не общее с «меньшими братьями» и принадлежит одному из тысяч. Часто и подолгу Белинский беседовал с Некрасовым, и каждое его слово падало на благодатную почву.

Под влиянием Белинского инстинктивные прежде симпатии и антипатии поэта становились мало-помалу вполне осознанными и осмысленными, сложилось определенное мировоззрение, ярким выражением которого явилась дальнейшая замечательная поэтическая деятельность Некрасова.

Не следует понимать так, что Некрасов просто заимствовал у великого критика готовую систему воззрений. Нет, прививаемые Белинским взгляды совершенно своеобразно преломлялись и окрашивались в сознании Некрасова. По складу своего ума он воспринимал не столько философскую основу новых взглядов, сколько жизненные предпосылки их.

Чутко уловив в ранних произведениях Некрасова задатки своеобразной силы, Белинский раскрыл поэту глаза на сущность его натуры, на ее настоящие возможности, указал ему высокую и благородную цель. Впоследствии поэт многократно писал, как благотворна была для него дружба с великим критиком и революционным борцом.

Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени! .
Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил о народе,
Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе.

Не сразу, конечно, воплотились в поэзии Некрасова новые начала, не сразу стал он певцом народного горя и вместе с тем выразителем лучших надежд и стремлений русского народа. Но с той поры, как Белинский пробудил в нем сознание великого долга, он до конца жизни не изменял его заветам.

Не только поэтическое творчество Некрасова вошло

тогда в новую колею, — иное направление получила и его издательская работа. Склонность к ней никогда не оставляла Некрасова и занимала весьма значительное место в его творческой и общественной деятельности.

Сколько сборников и альманахов было задумано и выпущено им в 1845—1846 годах! Две части «Физиологии Петербурга», обозначавшие новое направление в тогдашней литературе, маленький «летучий» альманах, или, точнее сказать, сатирический журнал «Зубоскал» (так и не увидевший света по цензурным условиям), нашумевший «Петербургский сборник» с «Бедными людьми» Достоевского, альманах «Первое апреля» и т. д.

Успех «Петербургского сборника», к участию в котором Некрасов привлек Тургенева, Белинского, Герцена, Достоевского, Майкова, укрепил его решение издавать собственный журнал.

«Если бы явился новый журнал *с современным направлением*, — говорил он, — то читатели нашлись бы. С каждым днем заметно назревают все новые и новые общественные вопросы: надо заняться ими не с снотворным педантизмом, а с огнем, чтобы он наэлектризовал читателей, прсбудил бы в них жажду деятельности».

«Современник», право на издание которого Некрасов приобрел в самом конце 1846 года, стал благодаря неутомимой энергии поэта центром лучших литературных сил России и оставил неизгладимый след в истории русской культуры и русского освободительного движения.

С января 1847 года, когда вышел первый номер обновленного «Современника» под редакцией Некрасова, на протяжении почти двадцати лет (до запрещения в 1866 году) журнал этот, несмотря на все цензурные

строгости, был проводником передовых идей, воодушевлявших русских публицистов, философов и писателей.

Здесь печатались произведения Герцена, Тургенева, Достоевского, Гончарова, Льва Толстого. Здесь развернулся во всем блеске публицистический талант Чернышевского и Добролюбова. Некоторые из писателей, завоевавших впоследствии мировую известность, именно Некрасову обязаны были началом своей литературной деятельности.

Это был, как писал Антонович, «образцовый редактор: умный, дельный, энергичный, практический и усердный».

Белинскому недолго суждено было быть идейным руководителем журнала: в 1848 году великого критика уже не стало. Но Некрасов стремился сохранить его традиции, хотя издание журнала в эпоху цензурных гонений стало делом исключительной трудности. Печатание почти каждого номера сопровождалось запрещением обширных статей. В этих случаях Некрасову приходилось самому заполнять «зияющие бреши». Нужна была его нечеловеческая трудоспособность, чтобы успевать с заменой то и дело устранимых цензурой материалов новыми. «Я, бывало, запрусь, — вспоминал он, — засвечу огни и пишу, пишу. Мне случалось писать без отдыха более суток. Времени не замечаешь; никуда ни ногой, огни горят, не знаешь, день ли, ночь ли, приляжешь на час-другой и опять за то же дело».

Он писал повести, романы, критические статьи, редактировал рукописи, читал корректуры, вел переписку с авторами и читателями. Некрасов-редактор неотделим в нашем сознании от Некрасова-поэта. Недаром журнальный мир так широко и многообразно отражен в его стихах и поэмах. Он обессмертил в своей поэзии

образы творцов печатного слова, начиная от наборщиков, редакционного рассыльного и кончая журналистами и поэтами. Вспомним рассыльного Миная из поэмы «О погоде», невольного свидетеля цензурных мытарств, выпавших на долю русских издателей и журналистов:

— А какие ты носишь издания?
— Пропасть их — перечесть мудро.
Я «Записки» носил с основания,
С «Современником» няньчусь давно:
То носил к Александру Сергеечу,
А теперь уж тринадцатый год
Все ношу к Николаю Алексенчу,
На Литейной живет ..»

Вот сюда, на Литейную, к Николаю Алексеевичу Некрасову и явился молодой Чернышевский поздней осенью 1853 года, чтобы начать работать рука об руку с великим поэтом и стать затем через некоторое время у руля журнала. Всего восемь с половиной лет длилось сотрудничество Чернышевского в «Современнике», но за этот короткий срок при его ближайшем участии, а позднее и при участии Добролюбова (с 1857 года), «Современник» стал боевым органом русской революционной демократии.

Дружба Некрасова с вождями освободительного движения шестидесятых годов, теснейшее общение и работа с ними имели огромное революционизирующее влияние не только на его выступления как журналиста, но и на его поэтическое творчество этого периода. Идейная связь с Чернышевским и Добролюбовым во многом помогла поэту удержаться на верном пути служения народу и родине. Ленин писал об этом: «Некрасов колебался, будучи лично слабым, между Чернышевским и либералами, но все симпатии его

были на стороне Чернышевского. Некрасов по той же личной слабости грешил нотками либерального угодничества, но сам же горько оплакивал свои «грехи» и *публично каялся* в них...»¹.

Нечего и говорить, как важен был, в свою очередь, для Чернышевского дружелюбный прием, оказанный ему Некрасовым. Атмосфера «Современника» позволила развернуться критическому дарованию Чернышевского быстро и полно.

Первые печатные произведения Чернышевского (рецензии в «Отечественных записках» на книгу Гильфердинга «О сродстве языка славянского с санскритским», «Опыт словаря к Ипатьевской летописи:») носили еще узкоспециальный характер. Но будучи филологом по образованию, Чернышевский вовсе не предполагал посвящать себя всецело этой науке, — интересы его были значительно шире. Отчетливо сознавая, что его труды в этой области были бы необходимы и полезны исключительно для специалистов, он твердо намеревался оставить филологию для литературной критики и публицистики.

«Филология наука очень важная, — писал Чернышевский спустя два года, — но для того, кто хочет ею специально заниматься; человеку, который не намерен сделаться филологом, санскритский язык не принесет ни малейшей пользы. Еще менее пользы приобретет он, научившись отличать большой юс от малого. Странно даже доказывать такие простые истины. Но как же не защищать их, когда модное направление стремится к тому, чтобы вместо сведений о человеке и природе набивать голову юноши теориями придыханий, приставок, корней и суффиксами».

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 287.

Приход в «Современник» дал возможность Чернышевскому заняться разработкой животрепещущих вопросов, волновавших широкие круги читателей, а не узкую аудиторию специалистов.

Уже в молодые годы Чернышевский руководился в своих занятиях не личными вкусами и наклонностями, а потребностями общественного развития. Тут сказывалась та «историческая сознательность», которая заключается в ясном понимании писателем своего назначения и в стремлении его разрешать в первую очередь задачи, выдвигаемые эпохой.

В черновых вариантах «Очерков гоголевского периода русской литературы» Чернышевский говорит, что Белинский, как и великие европейские критики прошлого (в первую голову Лессинг), «сочинял рецензии» вовсе не потому, что это доставляло им удовольствие или было единственным их призванием. «Мы не знаем, назначала ли его природа исключительно к критической деятельности: гениальной натуры доступны бывают многие поприща, она действует на том, которое в данных обстоятельствах находит самым широким и плодотворным...» (Подразумевается, конечно, плодотворность воздействия на общественное сознание.) В другом месте «Очерков» Чернышевский замечает о своем предшественнике: «...Он чувствует, что границы литературных вопросов тесны, он тоскует в своем кабинете, подобно Фаусту: ему тесно в этих стенах, уставленных книгами, — все равно хорошими или дурными; ему нужна жизнь, а не толки о достоинствах поэм Пушкина или недостатках повестей Марлинского и Полевого».

В «Лессинге» Чернышевский точно так же показывает, что этот прирожденный философ не посвятил философии ни одной страницы в своих книгах, созна-

вая, что «не время еще было философии стать средоточием немецкой умственной жизни». «Не тяжелое ли самоотречение было это с его стороны? С первого взгляда может показаться так... Но для натур, подобных Лессингу, существует служение более милое, нежели служение любимой науке, это — служение развитию своего народа».

Понимание этого закона исторической необходимости Чернышевский обнаружил с первых же шагов в литературе. Вот почему он так быстро занял руководящее положение в критике. Вот почему в смятении стали отступать литературные противники «Современника» с приходом туда Чернышевского, а влияние последнего на читателей росло не по дням, а по часам. Вот почему он оставил неизгладимый след в истории отечественной литературы, хотя критиком собственно он занимался не более четырех лет. Встретив впоследствии в лице Н. А. Добролюбова достойного преемника, Чернышевский с 1857 года уже покинул эту область работы, чтобы перейти к публицистике, истории, экономике.

В «Отечественных записках» Чернышевскому приходилось рецензировать главным образом научные или справочные издания, в «Современнике» он получил возможность писать о беллетристических произведениях. Однако первые же статьи и рецензии Чернышевского в «Современнике» (о романе и повестях М. Авдеева, о «Трех порах жизни» Евгении Тур, о «Бедности — не порок» А. Н. Островского) послужили «Отечественным запискам» предлогом для нападок на «Современник» с упреками в резкости, непоследовательности и противоречивости критических оценок этого журнала. Обстоятельство это вовлекло самого Чернышевского в полемику с «Отечественными запи-

сками», а между тем, после того как началась эта полемика, он в течение всего 1854 года и первых месяцев 1855 все еще продолжал, по совету Некрасова, сотрудничать и в том и в другом журналах. Случалось иногда так, что в одном и том же номере «Отечественных записок» печатались статьи, рецензии Чернышевского¹, а на соседних страницах заметки с выпадами против его же статей из «Современника». Так продолжалось до весны 1855 года, когда Чернышевский решительно расстался с «Отечественными записками».

Что же в литературных статьях молодого критика вызвало с самого начала возмущение «Отечественных записок»?

Анонимный автор первого обзора в «Отечественных записках», содержавшего выпады против Чернышевского, не скрывает, что его неприятно поразило нарушение идилического покоя, царившего до сих пор в критических отделах журналов: «В последнее время в отзывах наших журналов о разных писателях привыкли мы встречать тон умеренный, хладнокровный; если же и читали подчас приговоры несправедливые, по нашему мнению, то самый тон статей, чуждый всякой запальчивости, обезоруживал нас».

Но вот в эту атмосферу вялого благодушия, тишины и покоя резким диссонансом ворвался вдруг смелый и живой голос, в котором ясно различимы ноты сарказма и гнева.

Чернышевскому не нужны уклончивые и позолоченные фразы, затемняющие существо дела. Ему

¹ Надобно заметить, что материалы разделов критики и библиографии печатались тогда в журналах большей частью без подписи автора

чуждо слепое поклонение авторитетам и известностям. Он не хочет повторять одни и те же стереотипные фразы о том или ином писателе «от самого его отрочества до самой его дряхлости». «Русская критика, — заявляет он, — не должна быть похожа на щепетильную, тонкую, уклончивую и пусгую критику французских фельетонов; эта уклончивость и мелочность не во вкусе русской публики, нейдет к живым и ясным убеждениям, которых требует совершенно справедливо от критики наша публика».

И вот, хотя произведения Евгении Тур получили некоторую известность (после того как И. С. Тургенев снисходительно и сдержанно похвалил их в «Современнике»), новый ее роман из великосветского быта «Три поры жизни», лишенный какого бы то ни было общезначимого содержания, Чернышевский, не обинуясь, называет натянутым, аффектированным, пустым и никому не интересным.

И вот хотя «Вариньку» М. Авдеева относили несколько лет тому назад в том же «Современнике» к числу «замечательных явлений литературы» и ставили в одном ряду с «Записками охотника», новые повести этого писателя настолько далеки от насущных вопросов современности, настолько легковесны и внутренне ложны, что Чернышевский, не обинуясь, бросает автору обвинение в постыдной лакировке действительности, в подкрашивании помещичьего быта розовой водичей сентиментализма. «Что за странность! — восклицает он. — Все это мило, но все это будто бы неправда, будто бы не клеится, будто бы, *не так...* Что же не клеится? Отчего не ладится? Ответа искать недалеко; но мы, — говорит он, разбирая повесть «Ясные дни», — сначала украсим свой разбор грациозным стихотворением:

О домовитая совушка,
О милосизая птичка!
Грудь красно-бела, касаточка,
Летняя гостья, певичка... и т. д.

Что за странность? Что-то не так! Грациозная песенка оказывается нескладицею! Виноваты, виноваты! Мы вздумали про сову пропеть то, что можно пропеть только о ласточке!

Г. Авдеев хотел в «Ясных днях» опозитизировать, идеализировать всё и всех в избранном им для идиллии кругу. Но дело известное, что не всякий кружок, не всякий образ жизни может быть идеализирован в своей истине. Трудно идеализировать бессмыслие и дразги... Г. Авдеев говорит нам: полюбуйте на всех выводимых мною людей всецело, во всей обстановке, полюбите их жизнь; посмотрите, какая светлая, чистая, славная эта жизнь! Посмотрим же, что это за люди и какова их жизнь! Идут ли к ней розовые краски? Не будем даже рассматривать, прикрашивает или нет он своих милых идиллических любимцев; возьмем их такими, какими он их выводит нам на аркадский лужок... Может быть, эти голуби, в сущности, вовсе не голуби, а просто-напросто осовевшие под розовыми красками жоршуны и сороки; может быть, от этих сов плохо приходится очень многим, потому что тунеядцы должны же кого-нибудь объедать...»

Трудно было с большею ясностью в подцензурном журнале обвинить писателя в идеализации паразитического времяпрепровождения людей помещичьего круга.

Евгения Тур и Михаил Авдеев были третьестепенными писателями. Но и об ошибках первоклассных художников-мастеров Чернышевский писал с присущей ему прямою и последовательностью, которую он по-

нимал вовсе не так, как рекомендовал ему понимать ее безымянный критик «Отечественных записок». Чернышевский отказывался ратовать за худшее только из привязанности к именам. «Если хочешь быть последовательным, — писал он, — то смотри исключительно только на достоинство произведения и не стесняйся тем, хорошими или дурными находил ты прежде произведения того же самого автора; потому что одинаковы вещь бывают по существенному своему качеству, а не по клейму, наложенному на них».

Комедия А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся» (1850 г.) создала заслуженную славу замечательному драматургу. Еще до появления в печати она в течение целой зимы читалась с необыкновенным успехом в литературных кругах. Комедия была воспринята современниками как одно из ярчайших явлений в литературе гоголевского направления. А. Ф. Писемский назвал «Свои люди — сочтемся» купеческими «Мертвыми душами»; ее ставили в один ряд с «Недорослем», «Горем от ума» и «Ревизором». Но в следующих затем комедиях Островского наметился отход великого драматурга от принципов критического реализма, столь ярко проявившихся в первой его комедии. Тут проявилось отрицательное влияние на него реакционных славянофильских идей. Комедия «Бедность — не порок» (1854 г.), в которой сильнее всего сказалось это влияние, вызвала шумный восторг славянофильствовавшего кригика Аполлона Григорьева. Он почти коленоупреклоненно прославлял ее не только в критических статьях, но и в стихотворениях.

Борясь за Островского, Чернышевский на страницах «Современника» в статье «Бедность — не порок» смело поставил вопрос о путях развития таланта автора «Своих людей». В противовес Аполлону Григорьеву,

он осудил комедию, дающую «апофеозу старинного купеческого быта», и констатировал, что в двух последних своих комедиях («Не в свои сани не садись» и «Бедность — не порок») Островский «впал в приторное прикрашивание того, что не может и не должно быть прикрашиваемо». Произведения, по мнению Чернышевского, вышли «слабые и фальшивые», тем не менее Островский еще не погубил своего таланта, дарование его «еще может явиться попрежнему свежим и сильным, если г. Островский оставит ту тинистую тропу, которая привела его к пьесе «Бедность — не порок».

Последующие произведения великого драматурга показали, что он действительно оставил «тинистую тропу», преодолел славянофильские влияния, и уже через три года Чернышевский в статье о комедии «Доходное место» отмечал, что «сильным и благородным направлением она напоминает ту пьесу, которой он обязан большей частью своей известности, — комедию «Свои люди — сочтемся».

Четкость общественно-политических позиций молодого критика, ясность его эстетических критериев, его страстная убежденность и прямота смутили не только критика «Отечественных записок», но и некоторых либерально настроенных сотрудников Некрасовского «Современника». Один из мемуаристов рассказывает:

«Многие из крупных сотрудников «Современника» долго не знали, кто помещает в журнале критические и библиографические статьи. Когда к Некрасову приставали за объяснениями Тургенев, Боткин, Григорович и другие, Некрасов обыкновенно как-нибудь укло-

нялся от прямого ответа, и имя нового сотрудника оставалось неизвестным. Один раз Боткин настойчиво стал допрашивать поэта и сказал: «Признайся, Некрасов, ты, говорят, выкопал своего критика из семинарии?» — «Выкопал, — отвечал Некрасов. — Это мое дело». Помещенный в «Современнике» небольшой разбор повестей Авдеева, печатавшихся раньше в том же журнале, произвел целую бурю в литературных кружках. Многие были задеты, другие заинтересованы, все расспрашивали, кто этот отважный критик, осмелившийся так резко разбранить Авдеева, известного в свое время литератора и постоянного сотрудника «Современника». Авдеев до того обиделся, что послал Некрасову ругательное письмо».

Рецензии и статьи Чернышевского в «Современнике» сразу выделили его среди тогдашних критиков. За каждой строкой его чувствовалась стройная система взглядов на искусство, цельность отношения к явлениям литературы, глубокое знание законов искусства.

Он выступил на литературном поприще в период упадка в критике, влачившей после смерти Белинского жалкое существование. Журналы были переполнены жалобами на оскудение критики. Но этим и ограничивались журналы.

В статье о сочинениях полузабытого в то время писателя Погорельского Чернышевский остановился на рассмотрении причин этого явления.

Статья является образцом ранней публицистической манеры Чернышевского. Он писал: «Один мыслитель, тревожимый в своих созерцаниях скрипом дверей в его квартире, нашел, что двери могут скрипеть от семнадцати различных причин. Почти столько же причин можно найти и для упадка русской критики в послед-

ние годы. Из них первая... но зачем говорить о первой? Лучше скажем о второй. (*Прием типичный для эзоповской манеры письма Чернышевского. Он «отказывается» говорить о первой причине упадка, имея в виду цензурный гнет.* — Н. Б.) Вторая причина бессилия современной критики — то, что она стала слишком уступчива, неразборчива, малотребовательна, удовлетворяется такими произведениями, которые решительно жалки... Современная критика слаба, — этим сказано все: какой силы хотите вы от слабости? Г. А. начинает писать плохие, лживые фарсы; читатели грустят о падении прекрасного таланта; критика находит лживые фарсы замечательными, высокими, правдивыми драмами; Г. Б. начинает писать из рук вон плохие стихи; читатели с неудовольствием пожимают плечами; критика находит стихи пластичными, художественно прекрасными. Г.г. В. и С., г-жи Д. и Е. пишут пустые, вялые, приторные романы и повести; читатели не могут дочитывать романов до второй части, повестей — до второй главы — критика находит эти повести и романы полными содержания, ума, наблюдательности... Как же вы хотите, чтобы она имела живое значение для публики? Она ниже публики; такую критикую могут быть довольны писатели, плохие произведения которых она восхваляет; публика остается ею столько же довольна, сколько теми стихами, драмами и романами, которые рекомендуются вниманию читателей в ее нежных разборах».

Сочинения Погорельского, изданию которых посвящена статья, послужили, в сущности, только поводом для того, чтобы сопоставить критику начала пятидесятих годов с критикой тридцатых годов, напомнить о высокой миссии подлинной критики, призванной влиять на читателей и воспитывать их.

Однако регресс ее зашел, по мнению Чернышевского, так далеко, что нельзя было сравнивать ее даже с предшествующей Белинскому критикой Н. А. Полевого и Н. И. Надеждина.

Когда против Чернышевского ополчились на страницах «Отечественных записок» за резкость тона и мнимую непоследовательность мнений, он не мог обойти молчанием эти выпады представителей узкоэстетической критики. Ответом его явилась статья «Об искренности в критике», в которой Чернышевский подробно изложил свои взгляды на задачи ее, выдвинув на первый план требование мысли и содержания при оценке художественных произведений и подчеркнув в то же время огромное значение художественной формы.

Острые этой статьи было направлено против уклончивых, осторожных ценителей литературы, боявшихся говорить откровенно и прямо о слабых произведениях, если они принадлежали перу известных писателей. В ней зло высмеян тип «умеренного» и «смирненного» рецензента, не осмеливающегося сказать ни одного решительного слова о разбираемом произведении, сопровождающего свои утверждения всевозможными оговорками из боязни задеть самолюбие критикуемой известности. «Сначала он как будто хочет сказать, что роман хуже прежних, потом прибавляет: нет, я не это хотел сказать, а я хотел сказать, что в романе нет интриги; но и это я сказал не безусловно, напротив, в романе есть хорошая интрига, а главный недостаток романа в том, что неинтересен герой, впрочем, лицо этого героя очерчено превосходно; однако, — впрочем, я не хотел сказать и «однако», я хотел сказать «притом»... нет, я не хотел сказать и «притом», а хотел только заметить, что слог романа плох, хотя язык превосходен».

Точка зрения, развиваемая Чернышевским, чрезвычайно близка к мнению, которое Белинский высказал в 1842 году в статье «Похождения Чичикова или Мертвые души»: «Есть два способа выговаривать новые истины. Один — уклончивый, как будто не противоречащий общему мнению, больше намекающий, чем утверждающий; истина в нем доступна избранным и замаскирована для толпы скромными выражениями: *если смеем так думать, если позволено так выразиться, если не ошибаемся* и т. п. Другой способ выговаривать истину — прямой и резкий; в нем человек является провозвестником истины, совершенно забывая себя и глубоко презирая робкие оговорки и двусмысленные намеки, которые каждая сторона толкует в свою пользу, и в котором видно низкое желание служить и нашим и вашим. «Кто не за меня, тот против меня» — вот девиз людей, которые любят выговаривать истину прямо и смело, заботясь только об истине, а не о том, что скажут о них самих... Так как цель критики есть истина же, то и критика бывает двух родов: уклончивая и прямая...»

И в разборе сочинений Погорельского и в статье «Об искренности в критике» Чернышевский настойчиво напоминал читателям о Белинском, хотя имя его после 1848 года было цензурно запретно. Чернышевский искусно обходит этот запрет — он не называет Белинского по имени, но говорит о нем иносказательно с достаточной ясностью. И в дальнейшем он нередко прибегает к тому же приему, говоря в своих статьях о тех лицах, имена которых были тогда запретны (Герцен, Бакунин, Фейербах).

Беспощадно зло и остроумно высмеял Чернышевский «литературные забавы» своих современников-писателей в пародийной рецензии на вымышленную дет-

скую книжку «Новые повести», где многие из тогдашних беллетристов могли узнать себя, хотя действующими лицами «рецензии» была некая почтенная тетушка и ее племянники и племянницы, занимавшиеся писанием повестей и рассказов. В рецензии была дана картина семейных литературных чтений, на которых выносились приговоры повестям и рассказам племянников: «По развитию мысли Ваничка стоит выше Лермонтова», «юмор Петруши глубок и бичует самые мрачные явления современности» и т. д.

Пародия эта была одним из первых проявлений открытой борьбы революционных демократов с безыдейной и салонной литературой, с либерально-дворянским «народолюбием» писателей, опошлявших крестьянскую тему, с мелкотравчатыми обличителями «недостатков общества», отвлекавшими внимание читателей от коренных, насущных и глубоких вопросов эпохи.

Жизнь Чернышевских в первые два года их пребывания в Петербурге текла по-провинциальному уединенно. Николай Гаврилович был так занят, что у него не оставалось времени для знакомых. Каждый месяц необходимо было ему написать не менее ста двадцати страниц: кроме статей и рецензий в «Современнике», регулярно печатались в «Отечественных записках» его заметки в отделах «Новости наук», «Журналистика» и «Смесь»; с некоторых пор стал он также переводить для этого журнала романы и повести с английского.

По заведенной им системе, в первую половину месяца он обычно чигал то, о чем надобно было писать, а во вторую половину — писал. Лишь иногда позволял он себе отдохнуть день-другой в начале нового

месяца, закончив всю необходимую работу по журналу. В такие дни ездили они с Ольгой Сократовной куда-нибудь за город: либо в Павловск, либо в Екатерингоф.

Ольгу Сократовну очень тревожило, что Николай Гаврилович так немилосердно изнуряет себя работой.

— Какого здоровья может достать надолго при такой работе? — твердила она друзьям. — Придешь поутру звать его пить чай, он сидит и пишет, уверяет, что недавно проснулся; потом пьет чай, а у самого слипаются глаза; как же поверить ему, что он спал?.. И всегда работает целый день: как встал, так и за работу, — и до поздней ночи.

— Я вовсе не так много работаю, как ты воображаешь, — возражал в таких случаях Николай Гаврилович. — Нельзя иначе: и так я не успеваю сделать всего, что нужно.

Напрасно Ольга Сократовна ссылалась на печальный пример Введенского, для которого неожиданно настали теперь тяжелые дни: он начал слепнуть от длительных напряженных занятий, от постоянного чтения. Лучшие петербургские окулисты, лечившие его, в бессилии опустили руки, говоря, что лекарствами дела уже не поправишь, а можно надеяться лишь на благотворительное действие спокойной жизни решительно без всякой работы. Николай Гаврилович на все эти сетования неизменно отвечал шутливыми фразами о своем железном здоровье.

Сфера умственных интересов мужа не могла быть вполне доступна Ольге Сократовне, хотя бы по тому, что у нее не было для этого достаточных знаний. Но, отрываясь от своих занятий, Николай Гаврилович любил проводить время с женой в дружеских беседах, ценя ее природный ум и наблюдательность.



О. С. Чернышевская. (Дагерротип.)



Н. А. Некрасов.

По несколько раз в день заходила она в кабинет к Николаю Гавриловичу, садилась возле него и начинала подробно рассказывать ему обо всем, что видела, слышала и думала. Но часто она замечала, что хотя он и слушает ее как бы с интересом, однако мысли его далеки и через минуту он уже забывает о предмете разговора.

В августе 1854 года, вскоре после рождения сына Александра, Чернышевские переехали в более просторную квартиру в Хлебном переулке, в доме Диллингаузена. Николай Гаврилович поселился здесь главным образом потому, что хотел перебраться ближе к редакциям журналов. Да и до кадетского корпуса, где он продолжал преподавать, легко и удобно было добираться отсюда на omnibusе, ходившем по Невскому проспекту почти до самого здания корпуса.

Не желая больше обрекать жену на одиночество, Николай Гаврилович охотно согласился на просьбу Ольги Сократовны о том, чтобы вместе с ними поселилась ее новая знакомая — Генриетта Михельсон, которая давала уроки французского и немецкого языков. «Мы оба, я и жена, — писал Чернышевский отцу, — главным образом то имели в виду, чтобы жена могла предаваться дружеской беседе, когда я занят».

Со времени переезда в новую квартиру круг знакомых Николая Гавриловича постепенно расширился. По воскресеньям стали приходить к нему некоторые из бывших его учеников по Сараговской гимназии, — закончив там курс, они переехали в Петербург и учились теперь в Педагогическом институте. Прежние ученики приводили с собою товарищей, которым они уже успели внушить уважение к своему учителю, чье имя становилось все более известным в литературном мире.

Так образовался здесь кружок молодежи, где Чернышевский развивал те же идеи, что и в своих журнальных статьях, с тою разницей, что он говорил перед своими посетителями подробнее и свободнее, не стесняемый цензурными соображениями. Здесь шли вольные беседы на исторические и литературные темы. С жадным вниманием слушали гости Чернышевского все, что он говорил им о Пушкине и Лермонтове, о Гоголе и Белинском.

Здесь прививались молодому поколению революционные идеи, распространявшиеся потом юными посетителями Николая Гавриловича дальше, в более широких кругах студенческой молодежи, уже прислушивавшейся к голосу Чернышевского в «Современнике». Популярность его среди передовых слоев общества неизменно ширилась и крепла.

В тот год, когда Чернышевские переехали из Саратова в столицу, над страной уже сгустились тучи войны... «Всего более занимают Петербург толки о предстоящей турецкой войне, — писал летом отцу Николай Гаврилович. — Иностранные газеты уверены, что война будет и обратится из войны между Россией и Турцией в войну между Россией и Англиею. У нас, по слухам, делаются очень большие приготовления».

И действительно, Россия постепенно втягивалась в военный конфликт с Турцией, следствием которого явилась потом война с коалицией европейских держав, война, потрясшая до основания крепостнические устои России и обнаружившая с неумолимой очевидностью бессилие царизма.

Ближайшим поводом к войне послужило занятие летом 1853 года русскими войсками дунайских княжеств Молдавии и Валахии. После того как Николай I отказался удовлетворить требование Турции об остав-

лении этих княжеств Турция в октябре начала военные действия против русских войск на Дунае

Дальнейшее расширение войны было вызвано захватническими стремлениями правящих кругов западноевропейских государств, главным образом Англии и Франции. В начале следующего года эти государства также предъявили России ультиматум об очищении княжеств. Он был отвергнут, и через две недели, 15 марта, обе державы объявили России войну. К осени 1854 года, после высадки англо-французских войск в Крыму, здесь сосредоточились все военные действия. Решающим и самым драматическим моментом Крымской кампании была беспримерно героическая оборона Севастополя, длившаяся почти год и окончившаяся его сдачей.

